

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПАВЕЛ КУТУЕВ,

доктор социологических наук, профессор кафедры теории и методологии социологии Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова

Социология: исторические истоки и современные трансформации¹

Abstract

The chapter seeks to identify the historical roots of sociological knowledge and its contemporary transformations. The chapter traces the origins of sociology as a separate discipline. Sociology's subject-matter is also discussed. Based on new publications utilizing archival data, the chapter claims that the term "sociology" was suggested by Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836) in his manuscript circa 1780. The chapter makes extensive use of Max Weber's insights into the nature of sociology as an empirical discipline ordering the chaotic universe according to ultimate values of a researcher. The chapter also advocates the centrality of classical thinkers and their texts for the discourse of contemporary sociology. The chapter suggests Imre Lakatos' methodology of research programs as a tool for grasping the evolution of sociological knowledge. The texts discusses how sociology was transforming under the impact of global social transformations, while contributing to them. The sources of sociology's original Eurocentrism are identified. The chapter also discusses the tasks of sociology today and outlines the prospects of its development.

Социология: дефиниции и история становления

Наиболее общим определением социологии как академической дисциплины является трактовка ее как науки об обществе. Общество, по определению Ю.Давыдова и А.Филиппова, является “совокупностью всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых манифестируется их

¹ Глава из учебника “Социология” под редакцией В.Евтуха и П.Кутуева. Учебник готовится коллективом кафедры теории и методологии социологии Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова.

всесторонняя зависимость друг от друга” [Давыдов, Филиппов, 1990: с. 233]. Говоря более конкретно, можно согласиться с американским социологом Джеффри Александером, что социология изучает социальное действие и социальный порядок. Действие можно рассматривать как рациональное или нерациональное, а социальный порядок понимать в континууме от микро до макро. В том случае, когда общество объясняется как арифметическая сумма индивидов, мы имеем дело с микроподходом; постижение социума как реальности, которая не редуцируется к сумме индивидов, порождает макроподход.

Очевидно, рассуждения об устройстве социума и факторах его изменений возникли задолго до появления самого термина “социология”, предложенного впервые известным деятелем Французской революции Эммануэлем-Жозефом Сиейсом (1748–1836) в рукописи 1780 года, которая при его жизни не была опубликована. Именно Сиейс был автором известного памфлета “Что такое третье сословие?”, заложившего основы идеологической конструкции революции во Франции. Учитывая то, что рукописи Сиейса стали издавать в полном объеме уже в наше время, другой французский мыслитель — Огюст Конт (1798–1857) — имел все основания в 1838 году в очередном томе “Курса позитивной философии” предложить термин “социология” в качестве неологизма для обозначения науки об обществе. Вместе с тем возникновение термина “социология” нельзя отождествлять с ее социальным оформлением (то есть институционализацией) и интеллектуальным наполнением в качестве обособившейся научной дисциплины. Впервые курс по социологии был прочитан в США: в 1891 году Френк Блекмер начал преподавание дисциплины под названием “Элементы социологии” в Университете Канзаса (Лоуренс). В следующем году в том же университете основали первую в мире кафедру истории и социологии; в 1892-м Альбion Смолл создал кафедру социологии в Университете Чикаго. А в 1895 году Смолл начинает издавать American Journal of Sociology.

Примером “разрыва” между современным звучанием термина и его архаическим наполнением может служить другое ключевое понятие обществоведения, возникшее в начале XIX века, — идеология. Предложенное Антуаном Дестютом де Трасси в его трактате “Проект элементов идеологии”, это понятие рассматривалось не в привычном для нас сегодня ракурсе как совокупность определенных идей о практическом устройстве и переустройстве и социума, а как часть зоологии. Согласно Дестюту, его наука об идеях не анализировала ничего такого, что было бы свойственно исключительно человеческим существам. Она сосредоточивалась на том, как способности ощущать, запоминать, оценивать и желать превращают “сырые” данные в сложные идеи: “В лучшем случае, как постоянно подчеркивал Дестют, даже в случае существования чего-то обособленного в сложных идеях и абстрактных концепциях (человека. — П.К.), это “что-то” полностью зависело от преимущественно неизвестных характеристик человеческой психологии...” [Sonenscher, 2009: р. 29].

В конце XVII — в первой половине XIX века сосуществовали, конкурируя друг с другом, такие термины, как “социальная наука”¹, “социальная фи-

¹ Термин “социальная наука” впервые использовал Сиейс в своей самой известной брошюре “Что такое третье сословие?”.

зика” и “социология”. Показательно, что все они были предложены французскими мыслителями, которые работали в рамках традиции Просвещения (или были ее преемниками). Мыслители Просвещения, в свою очередь, использовали идею разума не только как основу своих философских систем (что практиковали философы XVII века, в частности Спиноза и Декарт), но и как метод познания мира (природного и социального) и социальной критики. Более того, несмотря на немецкое происхождение термина “Просвещение” — это перевод с немецкого, предложенный И. Кантом в 1784 году в статье под названием “Что такое просвещение?” — именно Франция явилась страной, которая более всего ассоциируется с идеями этого направления.

Социология оказалась в аналогичной ситуации несоизмеримости первичного значения и современной интерпретации, несоизмеримости, проиллюстрированной при помощи термина “идеология”. К тому же этот термин возник как следствие случайности и личных счетов. Огюст Конт сначала предложил термин “социальная физика”, который взял на вооружение бельгийский ученый — астроном, статистик, криминалист, первопроходец в области общественного здравоохранения и исследователь общества — Альфред Кетле (1796–1874). В 1835 году Кетле опубликовал трактат под названием “О человеке и развитии его качеств, или Очерк по социальной физике”. В 1848 году он издает работу под названием “Социальная система и законы, которые ею руководят” (понятие “социальная система” станет чрезвычайно популярным во второй половине XIX века благодаря работам американского социолога Талкотта Парсонса). Социальную физику понимали как науку о законах, управляющих обществом независимо от воли человека. Кетле внес огромный вклад в применение статистических методов для изучения общества, в частности таких его сфер, как преступность и самоубийства. Он также ввел понятие “среднего человека”, которое и сегодня используют в статистике (среди прочих новаций Кетле — индекс массы тела, предложенный им в 1869 году). Конт, не желая уступать пальму терминологического первенства, ответил тем, что заменил в своих работах “социальную физику” на “социологию”.

В свою очередь, влияние Канта обусловливалось не столько реальными научными достижениями, сколько терминологическими новациями и намерениями. Так, идея позитивной науки, то есть науки, преодолевающей ограничения религии и метафизики, дала мощный импульс развитию одного из наиболее влиятельных течений в философии и познании социума — позитивизма¹. Вместе с тем содержание Контового учения контрастировало с его собственным пафосом: например, закон трех стадий по своей спекулятивности мало чем отличается от философии истории Г. Гегеля.

¹ Как утверждали основатели логического позитивизма — новейшей и утонченной версии Контового позитивизма, появившейся в 1920-х годах в Вене: “Мы охарактеризовали *научное миропонимание* при помощи двух определяющих моментов. Во-первых, оно является эмпиристским и позитивистским: существует только познание, основанное на опыте, фундаментом которого, в свою очередь, является то, что нам дано непосредственно (*das unmittelbar Gegebene*). Таким образом устанавливается ограничение для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания характерно применение определенного метода, а именно метода *логического анализа*” [Карнап, Ган, Нейрат, 2005: с. 19].

В итоге возникла парадоксальная ситуация: то, что мы сегодня понимаем под социологией, ближе не к оригинальному проекту социологии Конта, а к социальной физике Альфреда Кетле!

Отличие современной социологии как науки об обществе от идей Платона, Аристотеля, Никколо Макиавелли, Томаса Гоббса, Джона Локка, Адама Смита, Шарля Луи де Монтескье, Жан-Жака Руссо, Вольтера, Мари Жана Антуана Николя де Кондорсе, Алексиса де Токвилля¹ и многих других выдающихся мыслителей заключается в том, что социология позиционирует себя как эмпирическую науку, использующую как теоретические, так и эмпирические средства познания социума. Вместе с тем эта дистинкция не носит абсолютный характер: труды классиков социальной мысли той эпохи, которая предшествовала появлению социологии, нередко более релевантны и информативны, чем выдержанные в рамках социологического канона, но бесцветные и некреативные изыскания наших современников. Поэтому неудивительно, что Парсонс в 1937 году полемизировал с Гоббсом, Роберт Белла в 1980-е годы вдохновлялся Токвиллем, а Джованни Арриги сегодня — Адамом Смитом.

Согласно классической формулировке немецкого социолога Макса Вебера, который не только декларировал идею объективной и свободной от оценок социальной науки, но и реализовал ее в своих конкретно-исторических, социологических и политических исследованиях генезиса рационального западноевропейского капитализма, хозяйственной этики мировых религий, типов легитимного господства и актуальных проблем плебисцитарной демократии, социология как наука о действительности призвана понять окружающую нас жизнь в ее своеобразии. Иными словами, социология фокусируется на вопросе о “взаимосвязи и культурной значимости отдельных его явлений в их нынешнем виде, а также факторах того, что они исторически сложились именно так, а не иначе”. Интеллектуальное развитие Вебера было связано с неокантианской традицией (а также философией В.Дильтея), затем он принципиально отбрасывал претензии как марксизма, так и идеализма (типа Гегелевого) на постижение сути истории, выведение общей формулы общественного развития, на основании которой можно было бы анализировать конкретные социокультурные феномены; он трезво констатировал однобокость и “материалистической”, и “спиритуалистической” интерпретации каузальных связей в сфере культуры и истории: “Та и другая допустимы в равной мере, но обе они одинаково мало помогают установлению исторической истины, если служат не предварительным, а заключительным этапом исследования”.

Согласно Веберу, жизнь предлагает нам бесконечное многообразие явлений, которое не уменьшается даже тогда, когда мы изолированно рассматриваем отдельные ее объекты. Поэтому любое познание действительности человеческим духом исходит из того, что предметом познания может быть

¹ “Законность” включения Токвиля в социологический канон подтверждается многочисленными социологическими изданиями, которые трактуют его вклад в эту дисциплину. Например, в одном из последних выпусков *The Journal of Classical Sociology* [2009. – Vol. 9, № 1] половина из всех статей посвящена французскому интеллектуалу (три из восьми статей третьего номера анализируют идеи Токвиля, а четвертая является публикацией исследования самого автора “Демократии в Америке”).

только часть действительности, которую считают “существенной”, то есть “достойной знания”, поскольку культурой, по Веберу, является тот “конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения человека, обладает смыслом и значением”. Ошибочна мысль, что принцип вычленения такой части следует искать в “закономерной” повторяемости причинных связей, поскольку нас интересуют не количественные связи (как в случае естественных наук), а качественная окраска событий. “К тому же, — пишет Вебер, — в социальных науках речь идет о роли духовных процессов, “понять” которую в сопререживании — совсем иная по своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена... с помощью точных формул естественных наук”. Специфической чертой науки о культуре (Вебер использует понятие Генриха Риккера, отказываясь от абсолютизированного противопоставления последних наукам о природе) является то, что они пытаются понять жизненные явления в их культурном значении. Смысл явлений культуры предполагает соотнесение их с идеями ценности: “Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, важные для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэтому — и поскольку это имеет место — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес”.

В процессе исследования происходит отнесение действительности к ценностям, которые придают ей значимость и делают возможным формирование типичных понятий; эта процедура коренным образом отличается от анализа действительности на основании законов (то есть изучения общих черт явления), являющегося всего лишь подготовительной работой для познания исторического, то есть релевантного индивидуальному своеобразию феномена.

Порядок в окружающий нас хаотический мир вносится тем, что “интерес и значение имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с ценностными идеями культуры, которые мы прилагаем к действительности” [Вебер, 1990: с. 369; с. 208; с. 379; с. 371; с. 374; с. 376]. Это же касается и каузального объяснения; согласно Веберу, мы выделяем только те причины, которые можно свести к существенным компонентам события, а значит должны говорить не о законах или подведении явления под общую формулу, а о конкретных каузальных связях, решая вопрос о том, к какой индивидуальной конstellации его следует сводить. Таким образом, Вебер солидаризируется с выводом Г. Риккера, согласно которому при объяснении явлений культуры знание законов является лишь средством исследования, а не целью познания, поскольку познание культурной действительности является познанием со специфической точки зрения.

Четко обозначив границы, до которых простираются притязания законодательного разума (его понятия, хоть и представляют собой средства для духовного господства над эмпирической данностью, не могут претендовать на охват сугубо исторической реальности или достижение “противоречия, которое с неизбежностью разворачивается в самих вещах” — Теодор Адорно), Вебер продемонстрировал образец ответственности ученого-обществоведа, трезво и методично отрицающего использование понятий как прокрустова ложа, в которое втискивают историю.

Социология предстает как наука о структуре социума — социальная статика, по Конту — и о социальных изменениях (социальная динамика, по определению того же автора). Возникновение социологии именно в XIX веке неслучайно — в течение этого столетия произошла индустриализация и урбанизация ведущих (западно)европейских обществ, а традиционный стиль жизни аграрного общества был разрушен. Стремительные социальные изменения, прежде всего массовая эмиграция в Новый свет — преимущественно США, — подчинение остального мира прямой или опосредованной власти ведущих стран Западной Европы, распространение образования, рационализация государственного управления и массовизация политики обусловили формирование мировоззрения, в рамках которого такой скоротечный и изменчивый тип социальной жизни стал нормой. Выдающийся британский историк марксистской ориентации Эрик Хобсбаум в своей влиятельной и блестящей тетralогии, посвященной происхождению современного мира, так охарактеризовал отрезки истории XIX века: 1789–1848 годы — эпоха революций; 1848–1875 — эпоха капитала; 1875–1914 — эпоха империй. Эта периодизация симптоматична, если учесть фиксацию темпа изменений, произошедших в западных обществах в XIX столетии.

Современный мир, по словам американского публициста, корреспондента газеты New York Times Томаса Фридмана, плоский. Фридман, известный своими пеанами в адрес глобализации, подчеркивает тот факт, что благодаря современным средствам коммуникации мир как бы уменьшился в своем физическом объеме и стал намного доступнее, чем в минувшие эпохи. Для примера сравним нынешнее положение дел — то есть возможность быстрых авиапутешествий и мгновенной передачи информации по Интернету — с ситуацией 1789 года. Для жителей той эпохи мир был огромным, а мобильность — чрезвычайно низкой. Так, новость о падении Бастилии путешествовала из Парижа до Мадрида 2 недели; распространение этой новости во французской провинции было еще более медленным — в городок Пероне, что на расстоянии 133 километров от Парижа, весть о штурме дошла через 4 недели. Более того, даже во второй половине XIX века — в 1861 году — 9 из 10 жителей 70 из 90 департаментов Франции жили и умирали в том же департаменте.

Преодоление традиционной изолированности и новые формы организации социума неизбежно продуцировали общественные проблемы и делали их гораздо более заметными / ощутимыми / пространственно более концентрированными в условиях городской жизни. Превращение ratio из абстрактного принципа мышления в метод организации и трансформации общества требовало систематического изучения не только природы, но и социальных проблем (нищеты, преступности, алкоголизма).

Рассмотрим подробнее, что именно Хобсбаум имел в виду под “эпохой революций”. Ответ британского историка — так называемая двойная революция: политическая Французская революция 1789 года и экономическая Индустриальная революция, начавшаяся в 1780-х годах в Британии. Реальность и значимость этих двух событий подвергалась и подвергается сомнению исследователями. Еще Алексис де Токвиль в своем классическом трактате “Старый порядок и революция” отрицал радикальный характер революции (признав, однако, невозможность избежать ее). Согласно Токвилю, революция лишь продолжила кропотливую реформаторскую работу, начатую абсолютистской монархией. Продолжая линию Токвиля, другой фран-

цузский историк, Франсуа Фюре, рассматривает почти весь XIX век как революционный, поскольку лишь в 1880-х годах Франция более или менее четко определилась с политическим выбором в пользу республики после продолжительных колебаний между монархией, империей и республиканизмом. Несмотря на все контроверзы, связанные с интерпретацией феномена Французской революции, одно очевидно — это событие имело и имеет эпохальное идеиное и идеологическое значение. Революция утвердила в качестве приемлемого новый концептуальный образ политического и социального мира. Восприятие конкретных изменений — экономических, социальных, политических, культурных — не утратило своей неоднозначности, однако *абстрактное понятие изменений как таковых* стали интерпретировать как движение, имеющее позитивные коннотации. Отсюда распространение концепции прогресса, которая контрастировала с традиционным инволюционным представлением истории как процесса упадка: золотой век (рай) сменяется чем-то худшим (а именно веком железным, или изгнанием из рая, что имеет своим следствием тяжкий труд и бедность), следовательно, все благое локализуется в прошлом, а перемены к лучшему — это возвращение к старому. (Вспомним парадигматические слова из проповеди священника Джона Болла, одного из лидеров крестьянского восстания 1381 года в Англии под предводительством Уота Тайлера: “Когда Адам пахал, а Ева ткала, Кто тогда был дворянином?”).

Концепцию Индустриальной революции ученые тоже рассматривают со скептицизмом, варьирующим от отрицания самого события до дебатов о его хронологических рамках. Тем не менее *идея* Индустриальной революции привела к легитимации социально-экономических изменений; она изменила господствующее представление о структуре общества: во главе нового, динамичного, индустриально-урбанизованного социума должна была оказаться буржуазия, ознаменовав рассвет “эпохи капитала”. Я делаю акцент на предполагаемых изменениях, поскольку доминирование буржуазии было далеко не абсолютным, о чем свидетельствует Гоббсаумова “эпоха империй”, то есть время монархических политических систем, ориентированных на внешнюю экспансию, наступившее после “эпохи капитала”. Было бы неразумно соглашаться с вигивской — оптимистически-либеральной — интерпретацией истории, которая рассматривает буржуазию как катализатор исключительно динамичных позитивных изменений, либо как агента свободного рынка и политической демократии. Американский социолог Иммануил Валлерстайн нарисовал неортодоксальный социальный портрет буржуа, где очертил склонность этой группы к “аристократизации” и отказу от пуританского самоограничения в пользу гедонизма. Обществоведы выделяют идеальные типы источников экономических ресурсов, якобы являющихся антитетичными: “ренту” (то есть политически санкционированное право феодала на получение тех или иных платежей за пользование его земельной собственностью при отсутствии инвестирования труда со стороны сеньора) и “прибыль” (в этом случае доход получают как результат инвестирования капитала и участия в экономическом управлении), а также соответствующие способы легитимации: традицию в первом случае и успешность нынешней человеческой деятельности — во втором. Валлерстайнов взгляд на эти два “идеальных типа” лишает их различимой системно-“формационной” идентичности: рента играет важную роль в рамках капитализма, а эко-

номическая деятельность прошлых эпох принимала форму прибыли; по большей части эти формы нередко переплетаются, становясь неразделимыми. По Валлерстайну, даже дихотомия между рынком — как основным координирующим механизмом перераспределения в условиях капитализма — и внеэкономическим (политико-административным) насилием/принуждением, которому приписывают ключевую роль при господстве перераспределительно-данницкого способа производства, утрачивает свою антагонистичность. Внеэкономическое принуждение остается существенным и в условиях капитализма, а рынки почти всегда функционировали в контексте “докапиталистических” исторических систем. Более того, американский историк Арно Майер в своей книге “Длительность прежнего порядка” настаивал, что 30-летний кризис в Европе (1914–1945 годы) был вызван борьбой прежнего порядка за сохранение своих позиций *vis-à-vis* промышленный капитализм. Как видим, даже в первые годы XX века ленинский классический вопрос “Кто кого?” не мог получить однозначного ответа в пользу буржуазии, лишенной, к тому же, однозначной характеристики носителя прогресса.

Валлерстайн так резюмирует свою критическую позицию в отношении событий и идеологии “двойной революции”: “Очевидно, что Французская революция свершилась на самом деле и была масштабным “событием”, учитывая ее разнообразные и долгосрочные последствия для Франции и мира. Но, без сомнения, она является также и мифом¹ в том самом смысле, который вкладывал в этот термин Ж. Сорель; и сегодня знание этого мифа и его использование остаются политически важными для Франции и мира” [Wallerstein, 1989: р. 49]. Как бы то ни было, на примере Французской революции становится понятно, как в действительности формируются и поляризуются классы — в ходе продолжительных, непрямолинейных и постоянных процессов реструктуризации. Вне всякого сомнения, революция играла определенную роль в этом процессе, но отнюдь не решающую, поскольку переход от феодализма к капитализму произошел задолго до нее. Трансформация структур государства была всего лишь продолжением процесса, который длился в течение двух столетий. Французская революция, считает американский ученый, не отличалась ни фундаментальной экономической, ни фундаментальной политической трансформацией. Под углом зрения капиталистической мир-экономики она скорее была моментом, когда идеологическая надстройка наконец догнала экономический базис. Революция была следствием перехода, а не его причиной или тем моментом, когда этот переход случился. Крупная буржуазия, пришедшая на место аристократии в капиталистическом мире, верила в прибыль, а не в либеральную идеологию и постоянно мечтала об отходе от дел и “аристократизации”. Концепции типа индустриальной и буржуазной революции являются продуктом модерной метафизики с ее просветительской верой в прогресс. Они стали частью нашего бессознательного, сделав невозможным использование альтернативного словаря для описания реальности. К интеллектуальной критике концепции двойной революции добавляется критика политическая: мыш-

¹ Миф, представленный Французской революцией, был не буржуазным, а антибуржуазным мифом [см.: Wallerstein, 1989: р. 52].

ление в такой системе координат иррелевантно и даже опасно, учитывая задачу борьбы с капитализмом. Вместо стремления к трансформированию мировой капиталистической системы с ее мир-экономикой, опирающейся на закон стоимости, и ее надстройкой — межгосударственной системой, базирующующейся на суверенитете государств и балансе власти, воинствующие освободительные и социалистические режимы оказываются в ловушке, которой оборачивается игра с захватом государственной власти ради реализации Сталиновой литании: необходимости “догонять”, то есть осуществления собственной “индустриальной революции”.

Независимо от вопроса, какой именно социальной группе можно обоснованно приписать выполнение функции революционизации развития общества в XIX веке, нельзя не согласиться с Марксом, что мы живем в обществе постоянных изменений, а патриархальные, идиллические отношения разрушаются: “The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionising the instruments of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. Conservation of the old modes of production in unaltered form, was, on the contrary, the first condition of existence for all earlier industrial classes. Constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned”¹.

Из трех общепризнанных классических основателей социологии только двое идентифицировали себя как социологов — Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм — тогда как Карл Маркс позиционировал себя как политэконом (хотя нельзя пренебрегать тем фактом, что во времена Вебера в Германии не существовало университетских подразделений с названием “социология”; Дюркгейм получил звание профессора педагогики и социологии лишь в конце своей жизни). По иронии истории “первый” социолог — хотя бы по самоназванию — Конт сегодня является предметом изучения тех, кто занимается прошлым этой дисциплины, поскольку его исследовательская программа, как я уже отмечал, представляет собой набор блестящих озарений, которые он сам не смог применить в практике исследований. В то же время я не намерен принижать историческое значение Конта, влияние которого достигло даже Бразилии. Так, бразильский философ и математик Раймунду Тейшей-

¹ См.: Marx, Engels. — <<http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/manifest.doc>>. Я привел эту цитату из английского перевода “Манифеста”, поскольку именно этот вариант отличается блестящей риторической экспрессией и изысканным стилем. См. русский перевод: “Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было сохранение старого способа производства в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть” [Маркс, Энгельс, 1980: с. 28].

ра Мендес (1855–1927) создал девиз государственного флага Бразилии “Ordem e Progresso” (“Порядок и прогресс”) после установления республики в этой стране (1889 год), вдохновляясь Контовым лозунгом: “Любовь как принцип; порядок как основа; прогресс как цель”.

Исходя из своих научных интересов, основатели социологии проникались проблемой становления капитализма и его политической “оболочки” (Маркс и Вебер), а также социальными последствиями капитализма (Маркс и Дюркгейм). В итоге Маркс хоть и не изобрел, но систематизировал и довел до логического завершения концепцию классовой борьбы, борьбы между буржуазией и пролетариатом. Можно видеть, что Маркс и марксисты не редуцировали классовую структуру капиталистического общества к бинарной оппозиции буржуа versus пролетариат. Маркс в “18 брюмера Луи Бонапарта” мастерски проследил траектории различных классов Франции середины XIX века — от крестьянства, которое он язвительно сравнил с мешком с картофелем, до люмпен-пролетариата. Молодой Сталин так поэтически — и вместе с тем реалистично — обрисовал тенденции борьбы классов на рубеже XIX и XX веков: “Чрезвычайно сложна наша жизнь! Она везде пестрит различными классами: крупная, средняя и мелкая буржуазия; крупные, средние и мелкие феодалы; подмастерья, чернорабочие и квалифицированные фабрично-заводские рабочие; высшее, среднее и мелкое духовенство; высшая, средняя и мелкая бюрократия; разнородная интеллигенция и прочие подобные группы — вот какую пеструю картину представляет собой наша жизнь!” [цит. по: Вайскопф, 1951; с. 293]¹.

Вебер задавался вопросом о рационализации общества как общей тенденции человеческой истории (рассматривая рациональный капитализм как форму рационализации одной из сфер жизни) и харизматических восстаниях с целью вырваться из стального панциря модерна. Дюркгейм предметом своих исследований сделал механизмы, поддерживающие солидарность в современных обществах и продуцирующие разрушение господствующих норм, то есть феномен аномии.

Динамика исследовательских программ как модель развития социологического знания

Релевантную методологию исследования динамики и взаимодействия социологических идей представляют концепции науки Майкла Поланы и Имре Лакатоса [Polanyi, 1974; Lakatos, 1970]. Известно, что в своем трактате “Личное знание” Поланы пришел к выводу, что, вопреки утверждениям логических позитивистов и фальсификационистов (позицию последних в полной мереreprезентирует Карл Поппер), эмпирические данные не имели решающего значения для прогресса науки. Наука не сводится к простой логике или алгоритму, направленному на установление связей теории с эмпирическими данными, поскольку сами эти данные нередко оказываются ошибочными или неправильно интерпретированными. Согласно Поланы, логично было бы предположить, что компонентом научного поиска является не только безличное, но и личное знание. Это знание предполагает неар-

¹ М. Вайскопф обращает внимание на неинтеллигibleльное отсутствие крестьянства в Сталиновой схеме.

тикулируемые навыки и традиции, передаваемые в процессе “ученичества” в системе координат саморегулируемого сообщества ученых, противостоящего политическому контролю. Другой британский методолог науки венгерского происхождения И.Лакатос довершил схему Поланы концепцией динамики научных исследовательских программ, по его собственной терминологии. Полемизируя с попперианцами, Лакатос не упускал из внимания то, что наращивание научного знания происходит не путем отрицания гипотез, а путем отрицания отрицаний, направленных против того, что он обозначал как ядро теории. Лакатос осознает, что строгое соблюдение Попперовой методологии делает невозможным продвижение науки вообще, поскольку отрицание теории всякий раз, когда она сталкивается с аномалиями, в действительности лишает науку теорий. В свою очередь, ученые отрицают аномалии — то есть факты, остающиеся без объяснения в рамках исследовательской программы — чтобы отстоять собственные теории, демонстрируя приверженность своей исследовательской традиции. Таком образом, каждая исследовательская программа состоит из “жесткого” теоретического ядра, поддерживаемого вспомогательными гипотезами “защитного пояса” программы. Положения ядра, то есть определяющие положения, которые нельзя опровергнуть, не поставив под угрозу саму программу, являются для ученых конвенциями. Задача ученого заключается не в том, чтобы игнорировать или уменьшать количество аномалий; ученые должны использовать аномалии для увеличения объяснительного потенциала теории. Собственно аномалии служат двигателем развития науки, поскольку каждая исследовательская программа руководствуется принципами развития, именуемыми Лакатосом эвристикой. Негативная эвристика запрещает модифицировать жесткое ядро программы, сосредоточиваясь на совершенствовании “защитного пояса”. Эвристика позитивная предлагает вспомогательные теории, созвучные с положениями ядра, превращая отрицание теории в ее подкрепление путем конструирования новых концепций и абсорбируя таким образом наиболее важные аномалии. При отсутствии позитивной эвристики ученый просто утонул бы в океане аномалий, поэтому вполне корректно наблюдение Томаса Куна касательно того, что “ученый, который бы прерывал свою работу для анализа каждой замеченной им аномалии, редко достигает значительных успехов” (цит. по: [Лакатос, 2003: с. 376]). Одним словом, исследовательская программа развивается в процессе конструирования защитного пояса теорий, имеющих дело с фактами, которые отрицают ядро. Иначе говоря, позитивная эвристика модифицирует пояс вспомогательных концепций, опровергаемых с тем, чтобы отстоять неопровергимый статус ядра. При таком подходе можно выделить прогрессивные и дегенеративные исследовательские программы: в рамках первых новые слои теорий расширяют эмпирическое содержание программы и выдвигают успешные прогнозы, тогда как второй тип программ взаимодействует с аномалиями хаотично, разрешая проблему аномалий путем уменьшения степени всеобщности теории и утрачивая способность к прогнозированию. Понятно, что дегенеративные исследовательские программы неконкурентоспособны по отношению к прогрессивным, однако последние сменяют первые, поскольку дегенеративные программы фактически формулируют свои служебные гипотезы *после* того или иного аномального события, чтобы защитить теорию от фактов. Для Лакатоса, также как для Поланы и Поппе-

ра, парадигматическим примером дегенеративной программы был марксизм: “Ньютона программа вела к новым фактам; марксизм отставал от фактов и стремительно бежал за ними вдогонку” [Lakatos, 1978: р. 6]. В случае прогрессивных исследовательских программ отрицание положений вспомогательного слоя концепций стимулирует разработку новых теорий на основании ядра. Если учесть критерии “прогрессивности” научной теории, взгляды Лакатоса совпадают с взглядами Поппера: последний считал, что рост знания происходит тогда, когда новая теория предлагает простую, мощную идею, интегрирующую имеющееся знание. Новая теория должна не только объяснять прежние и нынешние феномены, но и предвидеть “поведение” новых явлений, то есть хотя бы некоторые из этих прогнозов должны подтверждаться.

Исследовательские программы не просто укоренены в теориях — наличие теорий является обязательной предпосылкой создания эффективных стратегем по отбору фактов: позитивисты-индуктивисты “не способны предложить рационального “внутреннего” объяснения того, почему прежде всего были отобраны те факты, которые отобраны, а не какие-то другие” [Lakatos, 1978: р. 104]. Наивная установка позитивизма с его верой в единую теорию как результат систематизации объективных фактов и акцентом на процедуре верификации оказывается безоружной перед требованиями фальсификационистов, а значит, не может уйти от необходимости преодоления фальсификации путем конструирования новых теорий, способных не только объяснять факты, но и решать проблемы, порожденные аномалиями, то есть несовпадениями между теоретическими суждениями и эмпирическими данными. Сложная структура исследовательской программы позволяет “снимать” требования фальсификационистов: жесткое ядро защищается, тогда как вспомогательные теории фальсифицируются, отбрасываются и уступают место новым.

Обратная сторона методологии исследовательских программ — это тезис о центральности классиков для социологической теории [Кутуев, 1995]¹. Социологический дискурс движется в системе координат, заданной классиками — Марксом, Вебером и Дюркгеймом — и сосредоточен на динамике и взаимодействии двух существенных феноменов модерна: национального государства и капитализма.

Методология исследовательских программ, защищая “нормальность” процессов интерпарадигмальной конкуренции, необходимость фальсификации вспомогательных концепций и совершенствования и ревизии периферии исследовательской программы, также предполагает деятельность, направленную на модификацию ядра, то есть его реконструкцию. Такая установка легитимирует поиск путей к синтезу, поскольку обновление тео-

¹ Императив центральности классиков является альтернативой позитивистской недооценки влияния исследовательских традиций на современный поиск. Позитивистски настроенные ученые (например, Т. Скочпол) рассматривают возрождение и реконструкцию наследия основателей социологической теории, с одной стороны, и поиск ответов на исторически укорененные вопросы — с другой, как несовместимые виды деятельности, тогда как моя позиция заключается в том, что они предполагают друг друга. Скочпол детально очерчивает свою методологическую ориентацию в целом и по отношению к классикам в частности в: [Skocpol, 1984].

ретико-методологического инструментария при одновременном сохранении его идентичности требует учета взглядов конкурентов / оппонентов.

Запад и его влияние на остальной мир

Социология возникает в Европе в эпоху, когда эта часть мира получает глобальное господство. Тысячелетние цивилизации Индии и Китая так или иначе подчинили себе европейские государства. Поэтому не удивительно, что взгляды основателей социологии отличались евроцентризмом. Евроцентризм провозглашает уникальность динамики европейской истории, с одной стороны, и приобретение ею универсального значения для всех обществ – с другой. Европа расценивается как средоточие модерного общества и его институций, тогда как остальные страны (*the Rest*) рассматриваютя как нетворческие имитаторы европейских практик.

В свое время американский экономист-марксист российского происхождения П.Берен замечал, что западный капитализм “эффективно разрушил все то, что оставалось от “феодальной” целостности *отсталых* (курсив мой. — *П.К.*) обществ. Он (капитализм. — *П.К.*) заменил патерналистские отношения, сохранившиеся в течение столетий, рыночными контрактами. Он переориентировал частично или полностью самодостаточные экономики сельскохозяйственных стран в направлении производства товаров для рынка. Он связал их экономическую судьбу с арьергардом мирового рынка и с температурной кривой международного движения цен” [Baran, 1963: р. 76]. Пассаж Берена отражает амбивалентность позиции марксизма в отношении капиталистического развития и роли Запада в этом процессе: акцентируя разрушительные социально-экономические последствия проникновения Запада в остальной мир, марксисты, вместе с тем, рассматривали глобальную (и глобализирующую) экспансию капитализма как возможность встать на рельсы “прогресса”. Поэтому пассаж Маркса в адрес динамичной роли капитализма в “Манифесте коммунистической партии”, по сути, не отличается от картины британской гегемонии, представленной примерно в то же время (в 1865 году) одним из создателей теории предельной полезности В.Джевонсом: “Равнинны Северной Америки и России являются нашими хлебными полями; Чикаго и Одесса являются нашими зернохранилищами; Канада и Прибалтика являются нашим лесом; в Австралии — наши овечьи фермы, а в Аргентине и в западных прериях Северной Америки мы имеем наши стада рогатого скота; Перу присыпает нам свое серебро, а золото Южной Африки и Австралии стекается в Лондон; индийцы и китайцы выращивают для нас чай, а наши плантации кофе, сахара и пряностей разбросаны по всей Индии. Испания и Франция являются нашими виноградниками; Средиземноморье — это наш фруктовый сад; наши хлопковые плантации, долгое время находившиеся на юге Соединенных Штатов, отныне разбросаны по всем теплым регионам земли” [цит. по: Kennedy, 1989: р. 194]. По убеждению Хобсбаума, государства Латинской Америки, специализируясь на производстве ограниченного ассортимента продукции, попадали в зависимость от ажиотажного спроса со стороны метрополии, который был явно не долгий. А значит, несмотря на решительность, с которой “Латинская Америка в третьей четверти девятнадцатого столетия вступила на свой путь “вестернизации” в своей буржуазно-либеральной форме с большим усерди-

ем, и иногда с большей жестокостью, чем любая другая часть мира (кроме Японии), но результаты были неутешительными” [Хобсбаум, 1999: с. 172]. Как следствие вестернизаторских усилий и ориентации — формально добровольной в случае политически независимых государств и принудительной в колониях — на потребности метрополии, названия стран стали синонимичны продукции, которую они выпускали: “Малайя” стала означать каучук и олово; “Бразилия” — кофе; “Чили” — селитру; “Уругвай” — мясо; “Куба” — сахар и сигары. По Хобсбауму, даже колонии с белым населением были не в состоянии (за исключением США) завершить индустриализацию в тот период, оказавшись в тисках специализации. Некоторые из них достигали удивительного процветания даже по европейским стандартам, особенно когда их населяли свободные, радикально настроенные эмигранты из Европы. Но все эти достижения существовали благодаря европейской (главным образом, британской) промышленной экономике, которая отнюдь не приветствовала индустриализацию других стран. Функция колоний и зависимых территорий состояла в дополнении экономики метрополий, а не в конкуренции с ней. Влияние метрополий было сильным и глубоким даже при отсутствии непосредственной оккупации; обратное же влияние зависимых стран было незначительным, во всяком случае отнюдь не жизненно важным для метрополий. Так, “Куба полностью зависела от цен на сахар и от желания США импортировать его, тогда как любая развитая страна, даже такая “малоразвитая”, как Швеция, не испытала бы каких-то особых неудобств, если бы весь сахар карибских стран вдруг исчез с рынка, потому что ее импорт сахара был связан не только с этими странами. Практически весь импорт и экспорт любой из стран Центральной Африки был связан с небольшой группой западных метрополий, тогда как торговля последних с Африкой, Азией и Океанией в 1870–1914 годах приобретала все более скромное значение, оставаясь для них второстепенным делом. Около 80% европейской торговли (считая как импорт, так и экспорт) осуществлялось в XIX веке между самими развитыми странами; такое же положение было в области инвестиций европейских стран. Капиталы, направляемые за рубеж, оседали главным образом в нескольких быстро развивающихся странах, населенных, в основном, потомками переселенцев из Европы, то есть в Канаде, Австралии, Южной Африке, Аргентине и, конечно, в США” [Хобсбаум, 1999: с. 108].

Радикальный социальный теоретик Андре Гундер Франк существенно корректирует позицию Берена и отказывается от понятия *отсталости*. “Отсталость” — это лишенный содержания концепт вне исторического контекста: в XVIII веке собственно Индия и Китай абсолютно не подпадали под категорию отсталых обществ. В 1800 году доля Китая в мировом промышленном производстве достигала 33,3%, тогда как доля Британии равнялась 5,6%. За сто лет удельный вес Британии увеличился более чем вчетверо, а Китая — уменьшился более чем в пять раз [Kennedy, 1989: р. 190]. Франк также отрицает “прогрессивность” влияния западного капитализма на периферию (Берен в другом своем исследовании также убедительно доказал причастность британского правления к упадку Индии [Baran, 1957]). Франк отвергает идею о внутренних факторах недоразвития, то есть взгляд на недоразвитие как на продукт доминирования принципа предписания в ущерб достижению и партикуляризма взамен универсализма, согласно мо-

дели теории модернизации. Он также отрицает марксистское объяснение недоразвития как результата консервации феодальных отношений. Подавляющее большинство стран периферии отличается от Запада тем, что они пережили колониальное господство со стороны Запада; тогда как последний никогда не имел подобного исторического опыта. Колониальная экспансия западного капитализма полностью реструктурировала общественные отношения стран, оказавшихся в его орбите, и радикально изменила способ их развития, сначала затормозив, а потом повернув направление эволюции когда-то вполне динамичных обществ в сторону недоразвития. Отдельные тезисы Франка получают поддержку у других исследователей. Так, индийский ученый А.Багчи замечает, что “колониальное осквернение Индонезии чрезвычайно способствовало голландской индустриализации и возвращению Нидерландов в западноевропейский клуб богатых наций” [Bagchi, 2000: р. 428].

Основные тенденции социальных изменений в XX веке

Уже неоднократно упоминавшийся Эрик Хобсбаум характеризовал XX век как эпоху выраженно крайних позиций (*age of extremes*). Этот отрезок времени стал свидетелем тектонических общественных трансформаций на уровне отдельных обществ и в мир-системном масштабе. В течение этого столетия произошло перемещение глобальной гегемонии из Британии в США, и собственно борьба за гегемонию породила две мировые войны, а также создала условия для реализации проекта ленинизма¹ на территории бывшей Российской империи. Среди других ключевых изменений прошлого века следует назвать следующие события: 1) дезинтеграцию европейских колониальных империй и возникновение третьего мира, или развивающегося мира; 2) исчезновение ленинизма как альтернативы либерально-модерным принципам организации общества и идеологии; 3) демократизацию в глобальном масштабе; 4) распространение неолиберализма как господствующей идеологии.

По справедливому наблюдению Дениэла Широ, такие события, как “американское поражение во Вьетнаме и взрыв серьезных радикальных проблем в середине 60-х годов XX века, сопровождаемых хронической инфляцией и девальвацией доллара США, а также потеря Америкой уверенности в своих силах в начале 1970-х годов, уничтожили моральные убеждения, составлявшие основу оптимистической модернизационной теории. Среди социологов младшего возраста популярен новый тип теории, пересмотревшей все старые аксиомы. Америка стала моделью зла, а капитализм, который раньше рассматривали как фактор социального прогресса, приобретает черты зловещего эксплуататора и главного агента нищеты почти во всем мире. Империализм, а не отсталость и отсутствие модерна — вот что стало новым врагом” [Chirot, 1981]. Как следствие — резко изменились исследовательские ориентации ученых, занимавшихся социумом, в частности в сфере изучения развития: по свидетельству Ф.Баттела и Ф.МакМайкла, в течение 1970-х годов разные варианты неомарксизма (или исследовате-

¹ О социальной природе ленинизма и его амбивалентной установке в отношении модерна подробнее см.: [Кутуев, 2000; Кутуев, 2002; Кутуев, 2005: с. 315–390].

льские программы, в определенной мере находившиеся под его влиянием), достигнув значительной популярности, начинают определять приоритеты развития социологии [Buttel, McMichael, 1985: р. 42].

Многим социологам казалось, что позиции оптимистической версии исследовательской программы модернизации были подорваны. Однако кризис социал-демократической политики и подъем новых правых на Западе в сочетании с падением ленинизма способствовали своего рода “второму рождению” идей, которые ассоциировались с авторами, формировавшими базовый скелет первой фазы исследовательской программы модернизации. Эксплицитны параллели между стилем дискурса работ Дениэла Лернера 1950-х годов и нашего современника Рональда Инглехарта: последний фактически берет на вооружение концептуальный словарь 1950-х и выражает ту же степень уверенности в неизбежности и необратимости социального прогресса.

Крах подавляющего большинства ленинских обществ — и особенно неоспоримое исчезновение советской мир-империи — оставил либерально-демократическую версию капитализма триумфатором-гегемоном в мировом масштабе. Таким образом на какое-то время были делегитимированы попытки поиска альтернативы либеральному капитализму, что дало основание некоторым исследователям провозгласить “конец истории” (авторство этого тезиса принадлежит американскому мыслителю Френсису Фукuyame). Дезинтеграция ленинизма, который конституировал так называемый второй мир, обусловила ускоренный процесс дифференциации стран, входивших в “социалистическое содружество”, и выбор ими разных траекторий развития. Часть восточноевропейских постленинских стран приближается к институциональным стандартам первого мира, однако большинство стран — наследниц СССР скорее воспроизводят образцы общественных практик, свойственных миру третьему. Подобная дивергенция путей развития отчасти может объясняться длительностью пребывания того или иного общества в рамках мир-империи ленинизма: согласно резонной гипотезе британского социолога Эрнста Геллнера, в Советском Союзе наблюдалось различие между регионами, находившимися под властью ленинского режима семьдесят и сорок лет соответственно. Действительно, это различие существенно повлияло на природу социальной памяти: “У сорока летних имеется острое ощущение того, что есть иной мир, тогда как семидесятилетние в основном утратили его. Они не знают другого” [Gellner, 1990: р. 283].

Исчезновение ленинизма способствовало разрушению ранее жестко определенных границ между тремя мирами и не только ускорило проникновение образцов модерна в бывшие второй и третий миры, но также создало предпосылки для хаотичного ответа со стороны последних. Результаты такого взаимопроникновения весьма далеки от оптимистичного образа неолиберализма и часто ведут к распространению проблем третьего и второго миров на первый¹. Это обратное влияние материализуется в образовании на Западе “диаспорных сообществ” (А.Ападурай), перемещение которых из остальных стран в развитые общества обусловлено рядом факторов — не-

¹ Именно к такому выводу пришел С.Джоб, доказывая существование не только такого феномена, как глобализация постсоветской России, но и феномена “русификации” Запада [см.: Job, 2001].

способностью многочисленных государств третьего мира поддерживать социальный порядок; масштабным превращением этих государств в клепто-кратические институции, направленные против развития; требованиями поддержки конкурентоспособности и бюджетной дисциплины за счет социального благосостояния, выдвигаемыми международными финансовыми институциями; существованием неравного обмена между ядром и периферией. Вместе с тем потомки “Веберовых” аскетических протестантов нередко соответствуют Энгельсово-Лениновому идеальному типу рабочей аристократии, которая, не в последнюю очередь, обязана своим привилегированным положением в структуре обществ первого мира эксплуатации периферии ядром и гедонистически использует возможности, доступ к которым облегчает компрессия времени и пространства (я имею в видуекс-туризм в страны третьего мира, так называемых mail order brides, нелегальный оборот донорских органов и наркотиков). Вместе с тем взаимодействие с первым миром не только снабжает третий мир высокотехнологическими средствами принуждения для поддержания господства локальных тираний или программы структурной перестройки с целью приведения институций развивающихся обществ в соответствие с неолиберальным образом минималистского государства. Эта интеракция также распространяет идеи и практики демократии, защиты прав человека и равенства.

Задачи социологии сегодня

Современные социологи работают с чрезвычайно широким кругом проблем. Собственно, любой феномен из жизни общества можно связать с “социальным”, а следовательно, сделать предметом анализа социологии. К ключевой проблеме социологии легитимно отнести вопрос модерна и его трансформации. Манифестиациями таких трансформаций являются глобализация и локализация; будущее капитализма как системы, особенно в свете нынешнего кризиса; перемещение глобальной гегемонии¹ с Запада на Восток; роль государства в общественно-экономическом развитии; проблема так называемых государств-неудачников; этнические и гражданские конфликты; национализм; расовые взаимоотношения; конфликты между цивилизациями и идентичностями; значение демократии и ее преобразование сегодня; социальная структура общества в условиях информатизации и (де)глобализации экономики; взаимодействие между различными уровнями мир-системы и перспективы восходящей мобильности для индивидуальных государств; девиантное поведение; международный терроризм; социальное неравенство, эксклюзия и проблемы гендер; проблемы, формирующиеся на пересечении ситуации

¹ Гегемония — термин, ставший популярным благодаря работам итальянского марксиста Антонио Грамши. В отличие от господства, основанного на применении силы, гегемония — это положение дел, когда лидерство в политической ситуации опирается на культурный и идеологический фундамент, тем самым продуцируя согласие со стороны тех, кем правят. В контексте мир-системного анализа и теории мировой системы понятие гегемонии применяют к государствам, имеющим преимущества по сравнению с другими сильными государствами благодаря обладанию экономическими, политическими и финансовыми ресурсами. Результатом этого преимущества является военное и культурное лидерство. Гегемония — это относительно скоротечный феномен в рамках мир-системного анализа и относительно стабильное явление в контексте теории мировой системы.

постленинизма и постколониализма¹; новые социальные движения (глобально-социальные и продвигающие права меньшинств и угнетенных); вопросы биополитики и потребления; диалектика модерна и/или постмодерна.

Ранний христианский апологет Гермий (II–III века) саркастически высмеял интеллектуальный плорализм античной философии, разнообразие подходов которой, например к трактованию души, делало невозможным понимание того, какая из школ является истинной. Согласно Гермию, древние философы превращали душу во что угодно: “Признаюсь, — пишет Гермий, — такие превращения возбуждают во мне отвращение. То я бессмертен и радуюсь; то смертен и плачу; то разлагают меня на атомы: я становлюсь водою, становлюсь воздухом, становлюсь огнем. Но вот я уже не воздух и не огонь, меня делают зверем или рыбой. Я становлюсь братом дельфинов. Сматывая на себя, я пугаюсь своего тела и не знаю, как назвать его: человек ли это, или собака, или волк, или бык, или птица, или змея, или дракон, или химера. Во всякою рода зверей превращаюсь я под [пером] тех любителей мудрости... Является наконец Эмпедокл и превращает меня в растение”. “Но против всего этого восстает с грозным видом Эмпедокл и из глубины Этны громко восклицает: начало всего — ненависть и любовь... Прекрасно, Эмпедокл, иду за тобой до самого огненного кратера. Но на другой стороне стоит Протагор и удерживает меня, говоря: предел и мера вещей есть человек; что подлежит чувствам, то и является действительными вещами, а что не подлежит им, того нет на самом деле. Я уже увлекаюсь Протагором, но там Фалес предлагает другую истину, Анаксимандр — третью, Платон — четвертую, Аристотель — пятую... Вот я уже соглашаюсь “с лучшим из мужей”, но над ним смеется Клеанф, а Карнеад и Клитомах доказывают, что вообще ничего не может быть постигнуто. ...Но вот есть другие философы, которые передают свое учение как таинство. Это Пифагор и его последователи. Послушаем их. Начало всего, — учат они, — единица; из ее модификаций и из чисел происходят стихии. ...Так измеряет мир Пифагор, и я, снова вдохновленный, оставляю дом, отчество, жену, детей и, ни о чем более не заботясь, возношуясь в самый эфир и, взяв у Пифагора мерку, начинаю мерить огонь” (цит. по: [Бычков, 1981: с. 81–83]).

Христианский мыслитель Гермий находился в интеллектуально более комфортной позиции, нежели мы сегодня — для него неоспоримой истиной было христианство, тогда как все оппоненты априори клеймились как исповедующие ложь и вводящие своих последователей в заблуждение. В современной социологической среде вместо дебатов о природе души обострились дискуссии о социальном действии и агентности, социальном порядке и структуре, гендере и конфигурации телесности, пространственной мобильности и экономике знаков. Ориентация в этом безбрежном море исследовательских программ — дело нелегкое. Сегодня как никогда актуально звучат слова Макса Вебера о том, что вопрос о критериях выбора между несовмес-

¹ Как аргументируют Ш.Чари и К.Вердери, “Холодная война еще не закончилась. Мы до сих пор ощущаем ее влияние. Как иначе мы можем объяснить ту степень важности, которую приписывают как ученые, так и государственные деятели “приватизации”, “рынковизации” и “демократизации” — тройке (troika) западной идентичности, — которую так настойчиво навязывают другим по всему миру как символ того, что холодная война закончилась? Или же акцентирование этих черт мотивируется — как это было в случае теории модернизации — идеологической целью заставить “их” быть такими, как устаревший образ “нас”?” [Chari, Verdery, 2009: p. 30].

тимыми ценностями нельзя решить средствами науки: выбор ценностей зависит от иррациональной установки индивида, и только индивид должен решать, кто для него Бог и кто дьявол.

Выбор из многочисленных парадигм — отнюдь не упражнение, подчиненное сугубо идеологическим соображениям, этот процесс ориентируется также на аргументы разума, то есть рационального дискурса¹. Исходя из рассуждений о вызовах, вставших перед независимой Украиной, будет уместно говорить об актуальности задачи интеллектуальной рецепции такой социологической исследовательской программы, как государство, способствующее развитию². Американский социолог Чалмерс Джонсон заложил фундамент этой парадигмы и впервые применил термин “государство, способствующее развитию” в трактате “Министерство внешней торговли и промышленности и японское чудо” (1982). Он описал и концептуализировал государство, действующее вопреки предписаниям либерализма, требующего минимизации роли государства в общественных делах в целом и экономических в частности и отказывающегося от роли “ночного дозора”. Государство, способствующее развитию (на английском языке — developmental state), имеет следующие характеристики: 1) автономия от общества при одновременной укорененности в нем; 2) способность формулировать последовательную политику и реализовывать ее; 3) эффективность и дееспособность государственного аппарата. Исследовательская программа государства, способствующего развитию, становится направлением в современной социологии, приобретающим все большую значимость и влияние. Самыми известными представителями этой школы являются Т. Скочпол, Д. Рюшемайер, Ч. Тилли, П. Эванс, А. Амсден, Ф. Блок. Эти ученые нашли альтернативу синтезу Т. Парсонса, сосредоточившись на формулировке теорий среднего уровня и акцентируя роль государства в процессах инициирования и поддержки политики развития общества. Представители исследовательской программы государства, способствующего развитию, осуществили структуралистскую интерпретацию социологии Вебера под влиянием идей немецкого ученого О. Хинце и определили государство как набор административных, полицейских и военных организаций, которые управляются и координируются исполнительной властью. Государство стали рассматривать как структуру, имеющую собственные интересы и действующую автоменно. В итоге структуры и дискурсы государства делают более выразительными параметры политики и формируют не только ее результаты, но и общество в целом. Классическими примерами государств, способствующих

¹ Говоря о рациональном дискурсе, я осознаю весь комплекс противоречий, свойственных понятию рациональности, и в то же время хочу подчеркнуть, что Геллнерово исследование “Разум и культура: Историческая роль рациональности и рационализма” убедительно демонстрирует, что несмотря на неоднократные изменения взглядов ученых на рациональность (даже толкование рациональности как феномена, укорененного в культуре, то есть в неминых Декарту “примере и обычаяе” [Геллнер, 2003: с. 255]) отсутствие консенсуса относительно природы рациональности не оправдывает произвола по отношению к “логике научного исследования”.

² “Как управлять рынками”, так назвал этот процесс и свою книгу о нем британский экономист Роберт Уэйд. Тот же Уэйд предлагает неортодоксальный, хотя и реалистичный план преодоления современного экономического кризиса, полагая в качестве основания идеи и предписания политики государства, способствующей развитию [Wade, 2009].

развитию, являются Япония и азиатские тигры. Анализ опыта подъема этих государств убедительно доказывает, что их формула успеха, подтверждаемого прогрессом их социально-экономических показателей, основана не только на использовании сил свободного рынка, но и на целенаправленном вмешательстве государства в сферу развития общества по рецептам, соответствующим представлениям скорее Фридриха Листа, нежели Адама Смита (по крайней мере традиционно интерпретируемого, то есть либерально-рыночного Смита, аутентичность которого недавно подверг сомнению Джованни Арриги в своем трактате “Адам Смит в Пекине”).

В этом интеллектуальном и идеологическом контексте для современной Украины важно изучение неопатrimonиальных трансформаций государства, которые блокируют становление государства, способствующего развитию. Формирование государства такого типа осложняется тем, что сила инерции все еще сохраняет гегемонию идеологий либерализма и неолиберализма. Либерализм как идеологическая система акцентирует неприкосновенность прав индивида, а в социально-экономической сфере провозглашает принцип невмешательства государства в функционирование рынка, который воспринимается как саморегулируемый. Более того, идеальное государство характеризуется метафорой “ночного дозора”, а “невидимая рука” рынка регулирует не только экономические отношения, но и общественные практики в целом. Принцип конкуренции рассматривается не только как регулятор экономической сферы; он приобретает универсальное значение фундамента социальной организации как таковой.

Оценки либерализма различаются в зависимости от идеологических предпочтений интерпретаторов. Для самих либералов (Ф.Фукуяма) либерализм триумфально победил своих конкурентов и знаменует конец истории, поскольку эта система взглядов универсальна и безальтернативна. Для мир-системных теоретиков, напротив, либерализм, во-первых, в реальности опирается на сильное и активное государство, продвигающее интересы господствующих классов, во-вторых, сегодня либерализм переживает крах, не в последнюю очередь из-за исчезновения ленинизма, выполнявшего функцию “официального” антагониста либерализма, не будучи таковым на самом деле. Сегодня в сфере структурирования государства, экономики и социума в целом гегемонистскими являются взгляды неолиберализма.

Неолиберализм, в свою очередь, это тип идеологии, фактически снятый в 1990-х годах остроту противоречий между консерватизмом и социал-демократией, превратив эти движения из самостоятельных мировоззрений в две схожие версии одного мировоззрения. Суть неолиберализма состоит в десоциализации общественного воспроизводства при одновременном преобладании рыночных императивов над общественными. В итоге формируется более атомизированная и приватизированная система, необходимым компонентом которой является переход от государства всеобщего благодеяния (*welfare state*) к государству всеобщего труда (*workfare state*). Происходит упадок кейнсианского национального государства всеобщего благодеяния, место которого занимает шумпетерианский постнациональный режим труда. Под режимом труда понимают отказ от кейнсианской политики полной занятости в пользу подчинения социальной политики требованиям гибкости рынка рабочей силы и системной конкурентоспособности. Сокращение бюджетных затрат на образование, здравоохранение и социальное обеспечение легитимируется новым определением

гражданина, которого рассматривают не столько как участника республиканской публичной сферы, сколько как потребителя и/или инвестора, действующего в рамках рынка. Объективными факторами влиятельности идеологии неолиберализма в политических кругах стали усиление конкуренции на мировом уровне и обострение борьбы за инвестиции. Мобильный транснациональный капитал постоянно оказывает давление на национальные государства, имея своей целью deregулирование их экономик, снижение налогов и предоставление льгот корпоративным акторам. В плоскости неолиберального мышления государство дискредитируется и воспринимается не как средство разрешения проблемы, а как составляющая проблемы. Поэтому утопическая вера в рынок остается привлекательной основой для оптимистичной политической риторики. Неолиберальные политические рецепты сохраняют легитимность и харизму, несмотря на очевидность проблем, порождаемых жестким соблюдением прорыночной ортодоксии¹.

В течение как минимум двух последних десятилетий социологи прокладывают путь к теоретическому синтезу, который бы сделал возможным продуктивное использование достижений различных, нередко противоположных по идеяным и идеологическим направлениям, парадигм. Так, марксист Майкл Буравой синтезирует Антонио Грамши и Карла Поланый, сторонники мир-системного анализа И. Валлерстайна используют идеи Вебера и Пьера Бурдье, один из основателей теории модернизации Роберт Белла пользуется словарем мир-системного анализа, последователь Талкотта Парсонса Ш. Айзенштадт синтезирует взгляды своего старшего коллеги с социологией Макса Вебера, С. Хантингтон выводит могущество цивилизаций из их экономического потенциала, тогда как Дж. Арриги использует карту цивилизаций для обозначения границ региональных мир-экономик.

Среди современных интеллектуалов распространяется осознание кризиса обществоведческой науки и образования в глобальном масштабе. Сомнению подвергаются легитимность традиционного разделения труда между разными дисциплинами, изучающими социум. Так, И. Валлерстайн категорически отрицает существование дисциплинарных границ между такими науками, как социология, политология, экономика и антропология. Валлерстайн призывает к разработке синтетической социальной науки, исторической по своему характеру, способной защищать определенную политическую программу (параллель с марксистским принципом историзма и обосновани-

¹ Было бы несправедливо критиковать только сторонников либерализма — типа Ф. Фукуямы — за ослепленность его успехом. Демонизация неолиберализма неуместна по теоретическим и практическим соображениям. Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что, согласно авторам уровня Дж. Грея, генеалогия неолиберализма коренится в квазирелигиозном культе разума А. Сен-Симона и О. Конта. Гегемония неолиберального мышления сужает угол зрения исследователя: признавая, что модернизация является сложным процессом построения модерна, ученые нередко депрограммируют “модерный пакет”, предлагаемый Остальным. Такая интерпретация этого феномена резко контрастирует с его самосознанием на Западе, где социальные теоретики рутинно констатируют противоречивую природу модерна (одним из первых мыслителей, почувствовавших угрозу сведению разума к инструментальной рациональности, был Гегель; одержав победу над верой, разум в своей просветительской инкарнации перестал быть разумом, превратившись в рассудок). Мыслители же левой ориентации часто не в состоянии оценить историческую значимость победы либеральной версии модерна над ленинизмом.

ем “научной” идеологии весьма условна). По мнению Валлерстайна, дифференциация научных дисциплин происходит от господствующих структур знания капиталистической мир-экономики, а следовательно, не подчиняется автономной логике поиска истины и решения социальных проблем. Подобные призывы не единичны: профессор и заведующий кафедрой религиеведения Колумбийского университета в Нью-Йорке Марк Тейлор тоже провозглашает необходимость разрушить барьеры, разделяющие кафедры и факультеты. Его решение — радикальный пересмотр учебных планов (последние следует заменить программами, структурированными в виде сложной адаптивной сети) и ликвидация кафедр. Вместо кафедр Тейлор предлагает создавать проблемно ориентированные программы, в частности Разум, Тело, Пространство, Время, Язык, Деньги, Масс-медиа, Вода [Taylor, 2009].

Социологи тоже вовлечены в интенсивные дебаты о *предмете* собственной дисциплины. Общество фрагментируется, исчезает либо воспринимается как феномен, порожденный реалиями XIX века с его беспроблемным отождествлением национального государства с обществом; отсюда более популярным становится призыв разрабатывать социологию *вне* обществ. Несмотря на всю продуктивность такой критической саморефлексии было бы иррационально полностью отказаться от понятия “общество” и применять его быстротечные заменители (например, мобильные “сети и потоки”, согласно Джону Арри), выбор которых зачастую продиктован капризными колебаниями моды¹.

Было бы также ошибочным считать, что задача социологии — фокусироваться исключительно на масштабных *макропроблемах* социума. Современный американский социолог Рендел Коллинз — опираясь на длительную традицию микросоциологии от Чикагской школы до Э.Гоффмана — мастерски демонстрирует, как теоретические конструкты классиков можно использовать для постижения *микропроблем*². Блестящим примером является его книга “Interaction Ritual Chains” (2004), состоящая из двух частей: первая — “Радикальная микросоциология”, вторая — “Применение”. В этом

¹ Ярким примером динамики идей, обусловленных модой, служит понятие гражданского общества. В 1980-х годах благодаря продолжительному интеллектуальному влиянию трактата Ю.Хабермаса “Структурные трансформации публичной сферы” и формированию “параллельных обществ” в недрах восточноевропейских ленинских режимов, это понятие переживает ренессанс и начинает рассматриваться как ключевой элемент демократизации. Одновременно демократизация становится синонимом политической модернизации в рассуждениях о перспективах развития пост тоталитарных обществ.

² Другой сторонник синтеза микро и макро в области изучения социального протеста и сопротивления так резюмирует позицию ученых, акцентирующих значимость микроизмерения: “В последнее время все больше исследователей разобщенности (contention) переориентируют свое внимание на такие культурные процессы, как создание коллективных идентичностей и стратегическое фреймирование неудовлетворенности и структурных условий. Этот культурный поворот совпадает по времени с “микроповоротом”, поскольку большинство исследователей культуры скорее интересуются микродинамикой разобщенности (contention), нежели масштабными структурными силами. Вытекающий из этого исследовательский вопрос таков: каким образом мы можем обогащаться достижениями из этого потока микроанализа, чтобы теоретизировать, как большая культурная схема формирует макрообразцы политики раздора (contentious politics)” [Ho-fung Hung, 2009: p. 76].

трактате Коллинз изысканно анализирует сексуальные интеракции, ситуативную стратификацию, ритуалы табакокурения и индивидуализм, демонстрируя эвристичность “великой теории” для понимания социума, в котором мы живем. В свою очередь, знание призвано служить фундаментом для информированного социального действия, как индивидуального, так и колективного, действия, направленного на общественные изменения, ориентированные на ревитализацию политического активизма, защиту культурных прав, справедливости и солидарности¹.

Литература

- Бычков В.В. Эстетика поздней античности (II–III вв.). — М., 1981.
- Вайскопф М. Писатель Сталин. — 2-е изд. — М., 2002.
- Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.
- Геллер Э. Разум и культура: Историческая роль рациональности и рационализма. — М., 2003.
- Давыдов Ю.Н., Филиппов А.Ф. Общество // Современная западная социология: Словарь. — М.: Политиздат, 1990.
- Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание – венский кружок // Логос. — 2005. — № 2 (47).
- Кутуев П.В. Время и общественная модернизация: случай ленинизма // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2002. — № 1.
- Кутуев П.В. Пролегомены к политической социологии ленинизма // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2000. — № 4.
- Кутуев П.В. Класична соціологія і сучасна соціальна теорія // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 1/2.
- Кутуев П.В. Концепції розвитку та модернізації: еволюція дослідницьких програм соціологічного дискурсу. — К., 2005.
- Лакатос И. Методология исследовательских программ. — М., 2003.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. — М., 1980.
- Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914. — Ростов-на-Дону, 1999.
- Bagchi A.K. The Past and the Future of the Developmental State // Journal of World-Systems Research. — 2000. — Vol. 6. — № 2.

¹ О подобном типе связи между такой общественной наукой, как экономика, и движениями, направленными на социальные изменения, см.: [Stanford, 2008]. Французский социолог Ален Турен пишет детальнее о вызовах неолиберализма и задачах защиты и возрождения общества — мотив, унаследованный современными социологами от Карла Поланьи, брата уже упоминавшегося философа науки Майкла Поланьи — в своей небольшой, но интенсивной по насыщенности идеями и аргументами книге “Вне неолиберализма” [Touraine, 2001]. Дж.Лоу и Дж.Арри радикализируют тезисы о связи социологического исследования с “социальным”, утверждая, что собственно социальное порождается применением социологии и ее методов: “Социальное знание как “профанов”, так и “профессиональных” агентов пронизывает социальный мир, вырабатывая и переделывая его” [Law, Urry, 2004: p. 393]. Таким образом, общественное мнение возникает как следствие учреждения в 1937 году журнала *Public Opinion Quarterly*, обусловившего возникновение новой реальности: общественного мнения “там” и индивидов, наделяемых этим качеством. Аналогичный процесс происходит в сфере экономики: теории рынка являются важным элементом продуцирования реальностей, которые они якобы нейтрально описывают.

- Baran P.* On the Political Economy of Backwardness // The Economics of Underdevelopment / Ed. by A.N. Agarwala, S.P. Singh. — N.Y., 1963.
- Baran P.* The Political Economy of Growth. — N.Y.: Monthly Review Press, 1957.
- Buttel F.H., McMichael P.* Reconsidering the Explanandum and Scope of Development Studies: Toward a Comparative Sociology of State-Economy Relations // Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice. — L., 1985.
- Chari S., Verdery K.* Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War // Comparative Studies in Society and History. — 2009. — Vol. 51, № 1.
- Chirot D.* Changing Fashions in the Study of the Social Causes of Economic and Political Change // The State of Sociology: Problems and Prospects / Ed. by J. Short. — Beverly Hills: Sage, 1981.
- Gellner E.* Ethnicity and Faith in Eastern Europe // Daedalus. — 1990. — Vol. 119, № 1.
- Ho-fung Hung.* Cultural Strategies and the Political Economy of Protest in Mid-Qing China, 1740–1839 // Social Science History. — 2009. — Vol. 33, № 1.
- Job S.* Globalising Russia? The Neoliberal / Nationalist Two-step and the Russification of the West // Third World Quarterly. — 2001. — Vol. 22, № 6.
- Kennedy P.* The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000. — L., 1989.
- Lakatos I.* Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes // Criticism and Growth of Knowledge / Ed. by I. Lakatos, A. Musgrave. — Cambridge, 1970.
- Lakatos I.* The Methodology of Scientific Research Programmes / Ed. by J. Worrall, G. Currie. — Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Law J., Urry J.* Enacting the social // Economy and Society. — 2004. — Vol. 33. — № 3.
- Polanyi M.* Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. — Chicago, 1974.
- Skocpol T.* Sociology's Historical Imagination // Vision and Method in Historical Sociology / Ed. by T. Skocpol. — Cambridge, 1984.
- Sonenscher M.* Ideology, social science and general facts in late eighteenth-century French political thought // History of European Ideas. — 2009. — Vol. 35, № 1.
- Stanford J.* Radical Economics and Social Change Movements: Strengthening the Links between Academics and Activists // Review of Radical Political Economics. — 2008. — Vol. 40, № 3.
- Taylor M.C.* End the University as We Know It // New York Times. — 2009. — April 27. The Journal of Classical Sociology. — 2009. — Vol. 9, № 1.
- Touraine A.* Beyond Neoliberalism. — L., 2001.
- Wade R.* Steering Out of the Crisis // Economic and Political Weekly. — 2009. Vol. XLIV, № 13.
- Wallerstein I.* The Modern World-System. — San Diego, 1989. — Vol. 3: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s.